



УДК 39 (091)
ББК 63.5

«УСТНАЯ ИСТОРИЯ» ДОНСКИХ КАЗАКОВ В ПОЛЕВЫХ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

М.А. Рыблова

В статье показаны возможности сбора устных исторических источников в процессе полевых этнографических исследований, а также их анализа в контексте выявления механизмов самосохранения и адаптации к кризисным явлениям XX в. этнокультурной группы донских казаков.

Ключевые слова: микроистория, устная история, полевые этнографические исследования, механизмы адаптации этнических и социальных групп к кризисам, народное мифотворчество.

Рубеж XX–XXI вв. для отечественной исторической науки стал временем раскрывшихся горизонтов и новых перспектив, когда наше научное сообщество начало активно прибегать к опыту мировой науки. Это было время внедрения в отечественное научное поле новых парадигм, методик, научных направлений, дисциплин и отраслей. В гуманитарных науках вторая половина XX в. была ознаменована все более нарастающим скепсисом научного сообщества по отношению к господствовавшим тогда метарассказам, бывшим, в свою очередь, составной частью таких глобальных конструкций, как позитивизм и марксизм. Традиционная «риторическая» история все более уступала место зарождавшейся в рамках постмодернистской парадигмы микроистории, выступившей в качестве противовеса упрощенным представлениям об автоматизме общественных процессов и тенденций. Микроистория, разрушая огромные и цельные полотна национально-государственных историй, дробила их на микросюжеты – «микромиры» или «малые жизненные миры», в центре которых стоял отдельный человек. Предложенный «микроисторией» микроанализ позволял увидеть преломление общих процессов в определенной точке реальной жизни. Такой «точкой» становились конк-

ретные люди, семьи, династии, отдельные субкультуры и регионы; а микроанализ уподоблялся увеличительному стеклу, дающему возможность разглядеть существенные особенности изучаемых явлений, которые ранее ускользали от внимания историков.

Новая отрасль исторической науки и на Западе пробивала себе дорогу медленно и постепенно, преодолевая давление идеологических установок и штампов. Что касается нашей страны, то широкое распространение микроистории здесь стало возможно лишь в постперестроечное время, когда была разрушена господствовавшая почти 80 лет единая государственная идеология, и начался пересмотр соответствующих ей методов и подходов к изучению исторического прошлого в отечественной историографии.

«Устная история», бывшая составной частью микроистории и представленная, прежде всего, мемуарами – устными свидетельствами современников, очевидцев и участников исторических событий, получила широкое распространение в нашей стране именно на рубеже XX–XXI веков. Впрочем, здесь нужно особо оговориться, что речь должна идти о широком распространении в это время «устной истории» как нового вида исторического анализа, а не как комплекса специфических источников. Опросы «живых свидетелей» эпохальных событий периода социалистического строительства в нашей стране стали проводиться еще с конца 1920-х годов. В частности, активно занималась сбором воспомина-

ний участников революционных событий и гражданской войны Комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б) (так называемый Истпарт), региональные отделения которой действовали до 1939 года. Одной из масштабных, правда так и незавершенных, программ 1930-х гг. стала создававшаяся на основе устных рассказов «История фабрик и заводов». Эти и подобные им исследования активно осуществляли советские краеведы до тех пор, пока в 1930-х гг. сталинские репрессии не обрушились на краеведение. В 1970–1980-е гг. проводились устные опросы «передовиков производства», лучших колхозников, а также ветеранов Великой Отечественной войны.

Главные особенности «устных источников» советского времени – оптимистический настрой, нередко переходящий в пафосную парадность, идеологическая заданность и односторонность в освещении исторического прошлого. Но главное – они представляли мнение лишь части советского общества. Среди этих документов, например, невозможно было найти воспоминания тех, кого раскулачивали или рассказывали, выселяли в Сибирь и в «кулацкие поселки». Совершенно закрытыми темами и сюжетами советских устных источников, относящихся к нашему региону, были голод 1920 и 1930-х гг., белоказачьи мятежи, рассказывание, депортация поволжских немцев, казачий калаборационизм периода Великой Отечественной войны, репрессии и многие другие. В официально заданный оптимистический пропагандистский жанр не вписывались страдания и мучения, гибель безвинных и переживания по этому поводу их близких. Такие обстоятельства дали основание П. Томпсону назвать этот пласт советских исторических источников «пародией на устную историю» [17, с. 74].

Именно поэтому настоящим шоком, как для научного сообщества, так и для всех читающих и думающих, стали первые публикации постсоветского времени (вторая половина 1980-х гг.), попытавшиеся преодолеть пародийность и односторонность прежней отечественной истории и осветить в полном масштабе такие трагические темы, как репрессии, раскулачивание, голод 1932–1933 гг. и пр.

Я хорошо помню, как возвратившись из экспедиции в конце лета 1988 г. встретила в ко-

ридоре университета начальницу НИСа (Научно-исследовательского сектора) с номером «Огонька» в руке. На нее произвела огромное впечатление публикация, посвященная коллективизации в СССР и последующему голоду. На ее вопрос: «Читала?» – я ответила: «Нет, но я про это знаю». Действительно, причитающуюся мне долю потрясения я получила гораздо раньше – еще в начале 1980-х, когда стала участником этнографических экспедиций, проводивших обследования памятников народной архитектуры на территории Волгоградской области.

К 1983 г. относятся мои первые полевые записи, в которых на «невинный» вопрос: «А сколько на вашей усадьбе содержалось до революции скота?» – наши информанты пугались и начинали с жаром объяснять, что были бедными, имели только одну лошадь, а их все-таки раскулачили, выселили. Многие, особенно женщины, начинали плакать. Это и была моя первая встреча с «устной историей», которая не только говорила *другие* тексты и открывала неведомые ранее для меня (историка по образованию) сюжеты, но и страдала и плакала на моих глазах от одного только прикосновения к этим пластам памяти. Когда одна женщина – жительница станицы Еланской – подробно рассказывала мне, как хоронила одного за другим своих малолетних детей в период голода 1930-х гг., я была совершенно уверена, что в ее памяти произошел сбой, и речь должна идти о голоде 1920-х, так как согласно тогдашней официальной версии истории в 1930-х наступило время процветания советских колхозов, и никаких упоминаний о голоде 1932–1933 гг. в учебниках истории не было. Именно поэтому публикации постперестроечного «Огонька» не произвели на меня столь ошарашивающего воздействия, как это было с моими коллегами, не соприкасавшимися с той частью истории, которую можно назвать не только устной, но и подлинно народной. К этому же времени относятся мои первые записи о гражданской войне, которую информанты называли «братской», и о революции, по поводу которой одна старая казачка выразилась так: «*Знаешь же, Ленин переверт исделал...*». Для недавней студентки исторического факультета, взрожденной на почве тогдашней официальной идеологии, все это было настоящим откровением.

Уже с конца 1980-х гг. началось осознание отдельными представителями отечественного научного исторического сообщества новых открывающихся перспектив и возможностей в рамках направления «устная история». Советский историк В.А. Бердинских, один из первых занявшийся проблемами устной истории, писал в 1990 г.: «Мы сегодня вплотную подошли к практической необходимости создания в СССР нового важного направления в исторической науке – направления устной истории, существующей в развитых странах» [2, с. 2]. Его призыв был услышан, хотя настоящее развитие устной истории в нашей стране началось уже после развала СССР. В настоящее время в рамках направления «устная история» работают историки, этнографы, культурологи, фольклористы, социологи, показывая блестящие образцы междисциплинарных исследований и демонстрируя прекрасные возможности устной истории как специфического исторического метода.

Что касается этнографов, то они оказались в непростой ситуации: с одной стороны, им не нужно было овладевать методикой сбора и анализа устных источников, так как с ними они имели дело изначально в силу специфики науки этнографии, работающей с «живой культурой» и «живой историей». С другой стороны, становление этнографических школ во многих регионах России (Кубань, Ставрополье, Дон, Нижнее Поволжье и пр.) началось именно с 1980-х гг., и ученые прилагали массу усилий, чтобы успеть зафиксировать остатки уходящей, исчезающей дореволюционной традиции. Наши исследования носили характер аварийно-спасательных работ, так как носители этой традиции уходили из жизни, унося с собой целый культурный пласт, который уже не подлежал восстановлению. Фиксируя в экспедициях по Дону главным образом элементы традиционной (дореволюционной) культуры донских казаков, мы направляли память наших информантов (тогда мы опрашивали родившихся в конце XIX – начале XX в.) главным образом на события «до социалистической модернизации», оставляя сюжеты, связанные с советским временем, на неопределенное «потом». Это «потом» оказалось плачевным для этнографических исследований на территории Волгоградской области. В начале 1990-х гг. были свернуты все этнографичес-

кие программы, был расформирован университетский НИС, прекратила существование этнографическая экспедиция ВолГУ.

Возобновить этнографические исследования в регионе удалось лишь в 1997 г., когда на кафедре регионоведения Волгоградского государственного университета стала проводиться этнографическая практика для студентов-регионоведов. В течение трех лет (1997–1999 гг.) небольшая группа энтузиастов под моим руководством выезжала в казачьи станицы и работала именно по направлению «устная история», опрашивая по специальным вопросам людей, переживших такие события XX в., как коллективизация, культурная революция, голод 1930-х гг., Великая Отечественная война. Студенческая практика просуществовала всего три года и была закрыта в связи с отсутствием финансирования, но начатые исследования мы продолжали и позднее, в 2000-х гг., используя средства РГНФ, спонсоров, а иногда и свои личные.

Я хорошо помню энтузиазм наших студентов, которые в непростых полевых условиях работали самозабвенно. Уходя в дальние хутора, иногда расположенные за 6–10 км от базы, они возвращались со стертymi ногами и неизменно горящими глазами. Сами они потом говорили мне, что для них это был бесценный опыт и человеческих отношений, и приобщения к «живой» истории, и подлинного патриотизма.

За несколько лет работы небольшой группы энтузиастов и в ограниченные сроки удалось собрать, может быть, не слишком значительный по объему пласт источников, но, во-первых, эта работа нами не прекращена, а во-вторых, исследования в рамках «устной истории» не ограничиваются нашей этнографической экспедицией. Сейчас в «казачьих» районах области работает немало энтузиастов-краеведов, тщательно фиксирующих события прошлого в устных рассказах своих земляков. Я могу назвать лишь некоторых из них: М.Н. Луночкин (директор Чернышковского казачьего музея истории и этнографии), Л.А. Васильева (зав. краеведческим музеем Усть-Бузулукской средней школы), В.А. Апраксин. Они не только собирают, но и публикуют свои материалы [1; 4]. Подведены некоторые итоги и наших полевых исследований в этой области [14; 15; 16, 19].

Сейчас в нашем распоряжении имеется более ста текстов, позволяющих не только реконструировать исторические события, происходившие в казачьих поселениях в течение XX в. и игнорируемые прежней историографией, но также передать состояния и впечатления от них тех, кто лично их переживал. Важное место в наших записях занимает культура повседневности XX века. Далее я обозначу основные сюжеты и темы, фиксируемые нашими информантами по годам.

Главные темы воспоминаний наших информантов о 1930-х гг. – раскулачивание, выселение людей из станиц и хуторов, голод, закрытие и разрушение церквей. Что касается культуры повседневности этого времени, то все без исключения отмечали крайнее оскудение этой сферы жизни: забвение прежних традиций не только в общественной, но и в семейной жизни. Только применительно к середине – второй половине 1930-х гг. изредка возникают сюжеты, связанные с такими событиями, как появление электричества, работа клубов, киноустановок, концерты художественной самодеятельности и пр. Как правило, эти сюжеты всплывают только после настойчивых вопросов интервьюеров.

В большинстве исследованных нами крупных поселений донских казаков информанты рассказывали о том, с какими разрушительными последствиями были связаны массовая коллективизация, раскулачивание и «культурная революция». Обобществленный скот погибал без ухода, добротные дома раскулаченных казаков вывозились в степь, где на их основе создавали так называемые *культстаны* (большинство из них впоследствии было разрушено или сожжено). В самих казачьих станицах дома раскулаченных также подвергались разграблению и разрушались; вырубались сады и левады.

Печальная картина разрушения казачьих станиц дополнялась еще более тяжелым зрелищем возникающих в их юртах так называемых «кулацких выселок» – поселений, состоящих из землянок, куда направлялись на жительство практически без всяких средств семьи раскулаченных казаков. О том, как отразилась коллективизация на состоянии казачьих поселений, свидетельствуют, например следующие рассказы: «Раньше Тепикино

была большая станица, после коллективизации стал хутор» [5, с. 67]; «Наш хутор – это единственный хутор, который остался на Цимлянских песках... 19 хуторов уничтожено путем раскулачивания, репрессии. Кого повывезли, кто сам разбежался» [5, с. 12]; «Хутор Деевский – он был 400 дворов, а в 1945 г. – 70 дворов было. От 400 осталось 70. Вы понимаете, почему эти люди ушли? На них было давление, они все по городам ушли»; «Вот так все поразорили. Это картина – русского создания коллективизации или раскулачивания – это было сродни Великой Отечественной войне, ну, только без применения дальнобойных орудий, разрушительной силой точно» [5, с. 17]. Некоторые информанты характеризовали коллективизацию как вторую революцию.

Наиболее ярко общая картина повседневности конца 1930 – начала 1940-х гг. отражена в рассказе, записанном нами в станице Усть-Хоперской в 2000 г.: *«И никаких мы праздников не знали. Ничего не отмечали. Ни на Троицу, ни на Пасху... Одно слово – колхоз. Все только работа... Я сама никаких рассказов не знаю. Времени не было. Все в колхозе работали. В 4 часа утра вставали, сено возили. Привозили в 12 часов ночи. А в 4 часа опять вставать. Ни праздников, ни выходных. И отпуска не давали... Ни вечеринки никаких, ничего. Клуба не было. Правда, вот в станице (от нас за 7 километров) бывало, кино привезут. Мы рады, о, бесплатно. А какой бесплатно, это же все с нас потом вычитут.*

Денег не видели, за трудодни, за палочки работали. И опять, когда в поле работали, харчили мы. Там даже мясо когда давали. И опять бесплатно. В тракторную бригаду харчи привозили, и опять вроде как бесплатно. А потом ведь все равно все вычитали с нас. Денег нам все равно не платили. Платили хлебом – зерном...

Нет, развлечений никаких не было. Ни крестины, ни свадьбы – ничего не отмечали. Так, сошлись и живут. Никаких свадеб. Да женихов нам уже и не досталось. Наших женихов всех в войну позабыли и побили. И все, и никаких свадеб. За всю мою молодость двое тока выходи-

ли замуж так, что делали свадьбы. Можна наши родители когда и играли по обряду. А у нас уже ничиво этава не было. Вся жизнь в колхозе....

...А как мы этого трибунала боялись. Я вот хорошо работала, ударницей была. Так и то такого страху натерпелась. Меня ведь хотели корреспонденты сфотографировать в газету. Они приехали к нам в хутор, а народ весь побегался – на них посмотреть. А тут меня вызвали. Я подхожу, а там народу... А я ж девчонка, ничего не знаю. Гляжу, он в военных штанах, а на боку у няво футляр. Там фотоаппарат, а я подумала – пистолет. Я подхожу к толпе народу, а он мне говорит – нет, отойди в сторону. Ну и все, я обмерла, думаю, счас меня расстреливать будут. Встала в сторонку и жду смерти. А он фотоаппарат достал меня фотографировать. Вот так...» [13].

Очень тяжелое впечатление производят записи рассказов тех, кто сам пережил выселение в «кулацкие поселки» или в Сибирь, а также голод 1932–1933 годов. Широко представлены в наших записях сюжеты, связанные с разрушением и осквернением церквей, что для многих стало символом полного краха прежней системы ценностей и всего миропорядка: «...Ограду разобрали, начали колокол спускать, а колокол громадный, спустили и отбили яму край. Теперича эту церкву – подложили под него чевой-то и взорвали. Ну что мы сделаем? Власть не такая теперь стала, какая в старинное время была. И вот и разобрали церкву. Кричал весь народ, криком кричал, что церкву порушили – кому она мешала, кого трога... Кричали все. И могилки все разгородили – там же огромная ограда была, кирпичное все...» [7, с. 76–79].

Воспоминания, относящиеся к 1940-м гг., связаны с Великой Отечественной войной. Здесь представлены такие сюжеты и мотивы, как «предвестники» и причины войны, ход военных действий на проживаемой территории, эвакуация, работа в тылу, партизанские отряды, оккупация.

Интересно, что в воспоминаниях о войне тема ожидания вестей с фронта и переживаний за тех, кто воюет, оказалась вытес-

нена памятью о тяжелом труде. Очевидно, эта особенность народной памяти может быть обусловлена спецификой казачьего быта, в течение столетий связанного с войной, когда частые и долгие отлучки мужей и сыновей вырабатывали в их женах и матерях стойкость и терпение.

Свою специфику имеет и народная память казаков (чаще – казачек) о периоде оккупации. Главная особенность этих воспоминаний – отсутствие рассказов о жестокостях со стороны оккупировавших казачьи селения немцев; сдержанная, а иногда и позитивная оценка поведения оккупационных властей. Некоторые из респондентов рассказывали о случаях великодушия и доброты по отношению к ним со стороны оккупантов. Давая оценку таким текстам, стоит помнить об особом отношении немецких властей в период войны к казачеству, о тех надеждах, которые они возлагали на казаков, как особо пострадавших от советской власти. Впрочем, большинство записанных нами текстов отражает ситуацию оккупации с типичным поведением захватчиков-грабителей.

Освобождение родного селения в рассказах респондентов всегда преподносится как смелое и героическое, как торжество добра и справедливости, нередко выстраивается в жанре эпического сказания: «Партизаны были. Вот пошли в разведку на Чепелев курган и оттель пришел только один – поббили всех. Тепереча, идут – много-премного солдат, ну, войско идет на Чепелев курган. Опять только трое вернулись – всех поббили. Тепереча ишо идет войско – громадное войско, опять дошли до нас – ну, тут женщины сидим с детьми. А один говорит: “Как нам пройтить на Чепелев курган? Это сейчас я провожу половину войска на Серафимович, а с Серафимовича на Чепелев курган, а мы отсюда”. Ну, и пошли тах-то на Чепелев курган и оттуда все до одного человека вернулись – немцев поклали всех – шагнуть негде» [12].

Послевоенное время представлено в наших материалах уже исключительно в контексте культуры повседневности, что связано непосредственно с задачами этнографических исследований, ориентированных на исследование культуры, а не истории.

Именно это обстоятельство обусловило наличие существенных различий в работе историков-краеведов и нашей. Этнографы в первую очередь исследуют народную культуру, понимаемую как специфический адаптационный механизм, работа которого направлена на приспособление группы к меняющимся условиям внешней среды (природным и социальным). В связи с этим главные задачи, которые ставили перед собой участники полевых этнографических исследований при сборе и анализе материалов устной истории донских казаков, – не заполнение пробелов на полотнах современных исторических концепций и даже не реконструкция отдельных сюжетов местной (локальной) истории, а выявление специфики народного восприятия и отражения в народной памяти сложных социальных и политических процессов советского периода, определение специфики народного исторического (квазиисторического) сознания и механизма современного мифотворчества, выявление адаптационных возможностей этого механизма, направленного на преодоление группой тяжелых кризисных ситуаций.

Собранные нами материалы показали, что в поисках причин страшных исторических катаклизмов, перевернувших жизнь миллионов людей, народное сознание обращается к весьма древним архетипическим образам, в которых сочетаются мотивы языческие и христианские. Причина революции 1917 г. и последовавших за ней перемен видится в нарушении основ миропорядка. Сама революция и последующие социальные эксперименты называются *перевертом*, *переставлением*, вслед за которыми в мире устанавливается власть Антихриста. Это «нарушение» происходит в высших сферах, но вызвано оно также и неправильным поведением самих людей, связанным с нарушением установленных в «первовремена» правил и норм. Кризисные события начала XX в. нередко осмысливаются в образах и символах мифологического сознания: «Христос заклал Сатану на тысячу лет. А энти – большевики-коммуняки – зачали петь “Вставай, проклятьем заклейменный...””. Вот он и встал и стал править нами...» [9].

Этот рассказ соотносится с широко распространенными народными представления-

ми о том, что в мифические первовремена царил всеобщая гармония, установленная Богом (Христом) на тысячу лет. Но со временем происходит нарушение очерченных границ, темные силы проникают в зону света, гармония рушится, устанавливается хаос. Чередование периодов гармонии и хаоса – предопределено, таков закон развития, но в рассказах, объясняющих причины исторических катаклизмов начала XX в., явно обозначен мотив «человеческих грехов»: «...мы прогневали нашего Творца Всемогущего Бога, и он карает нас» [3, с. 169]. Библейский сюжет о «казнях египетских», посланных Богом на египтян за их неправильное поведение («народ погибает, как фараон погиб»), находит отражение в народных определениях причин революции и гражданской войны.

Сбои, нарушения однажды установленного порядка определяются в народной традиции понятиями нормы, меры. Смена власти, изменение политического строя воспринимаются носителями традиции как перемена доли, участи, но не отдельного человека, а всего сообщества или даже мира. Эти установки, в свою очередь, восходят к весьма архаичным народным представлениям о доле (мере, судьбе), как части некоей общемировой жизненной силы. Любая доля (индивида или социальной группы) предстает как часть целого, отмеряемого Богом. Однако иногда случаются сбои в этом вселенском процессе отмеривания доли, понимаемом как процесс гармонизации мира. Такие сбои бывают как со знаком «плюс» («перебор»), так и со знаком «минус» («недобор», «недород»). Но по закону той же высшей гармонии, для всеобщего уравнивания после «перебора» обязательно должен последовать «недобор», выражающийся в голоде, моровых болезнях, войнах и других катаклизмах. Так, после чрезмерно урожайного года с неизбежностью ждали голода; оскудение женской сферы (мало рождалось девочек) должно было вызвать перенапряжение в мужской (война).

Так, по версии одной из наших информанток, причиной Первой мировой войны, революции и Гражданской войны стало то, что в столице без меры, в неурочное время и с чрезмерным озлоблением устраивали и проводили кулачные бои: «...Сильно дрались. До смер-

ти. Кулаками. Дрались – накликали войну. Кто кого одолеет. Вот они надрались к войне – и война. А потом революция была. Сын в Красной армии, а отец, например, в белых. И шли – отец на сына, сын на отца, бились. Вот как было» [6, с. 45]. В одном из записанных нами рассказов речь идет о том, как в станице Усть-Хоперской чрезмерно оплакивали погибших в войне 1914 года. Первые погибшие в этой войне воспринимались как первая жертва, за которой последуют новые: «Когда привезли его – все чин чинком, в царской форме, внесли в дом, отпевали его. Собралось народу – битком. Плач стоит страшный. Ну, и люди между собой: “Чей-то назревает нехорошее. Чей-то будет и чей-то будет страшное. Какое-то будет переставление”. Атмосфера наполнена, такое что-то мрачное, тягостное – похороны же, покойник, герой – ну, жертва. Ласточка первая... Так что в людях уже было предчувствие чего-то: “Господь нас наказывает за грехи наши”» [7, с. 23].

В качестве предвестника Великой Отечественной войны в народных рассказах выступает Божья мать, которая является нагой и просит лоскут ткани. В этом же ряду стоят нагие и плачущие женщины. Оскудение женской, прокреативной сферы связано непосредственно, по народным представлениям, с избытком жизненной силы-энергии в сфере мужской, что и приводит к неизбежной войне. За нарушением нормы с неизбежностью следует расплата с последующим оскудением уже мужской сферы.

Революция и последовавшие за ней события нередко трактуются как проявление Божьей воли, а точнее – той доли, которая – от Бога («такой нам рок вышел, рок – он все ведет...»). В нарушении гармонии повинны сами люди: последовавшая вслед за этим «перемена участи» (доли) – это лишь реакция Бога на изменившуюся ситуацию и его попытки «все уладить». В такой ситуации возникает, казалось бы, неразрешимое противоречие: если эта «страшная доля» – от Бога, то как она соотносится с приходом на землю Антихриста и установлением антихристовой власти: «...по всей Руси Антихрист гуляет без удержу» [3, с. 163]; «...слава наша и наша земля занята антихристами-комму-

нистами» [18]. Однако народное (мифологическое, по сути, сознание) разрешает эту дилемму, прибегая все к тем же, весьма архаичным представлениям о власти, как о доли, которая одновременно и сосуд и ее содержимое. Сменился сосуд и те, кто его содержит; сама же власть – как общемирская доля – это **наша** доля, нам ее изживать (пока не изжита эта – другая не появится; символический сосуд должен быть опустошен, прежде чем наполнится новым содержанием). Отсюда проистекает следующий блок складывающегося постепенно механизма самосохранения социума в кризисных условиях: нет отдельно виноватых и отдельно – правых; все – виноваты, и все – пострадавшие: «...И вопрос – за что? Это изгнание, эти выселки для нас являются непонятными, но пусть – судьбы Божьи пытаться не будем» [3, с. 163].

Взаимное примирение сопровождалось примирением с новой властью. На смену послереволюционному буйству с его беспримерной жестокостью пришло не менее беспримерное смирение: «Большинство пошли в колхоз. Собрались все вместе и пошли добровольно. Куда же пойдешь? Никто не хотел идти. Соберутся, поговорят: по-нашему все равно ничего не будет...» [6, с. 27]. Это примирение-смирение также вполне вписывалось в схему традиционных представлений о двояком воплощении доли-судьбы. Прежде чем произойдет наполнение сосуда новой (лучшей) долей, прежняя должна быть изжита, а сам сосуд должен претерпеть уменьшение, сокращение («грубая власть была, жестокая», но «претерпеть надо»), чтобы произошло его полное очищение накануне нового наполнения. Так складывался блок представлений, сводящихся к формуле «эта власть (как и любая власть вообще) – это наша доля». Эти архаические представления дополняются мотивами христианскими: «Иоанн Златоуст говорит: всякая власть от Бога дана, и всякой власти нужно повиноваться» [3, с. 139].

Разумеется, система взаимоотношений «власть – общество – личность» в рамках исследуемого нами социума не ограничивается лишь перечисленными представлениями (она включает в себя массу иных формул и конно-

таций), но складывается впечатление, что концепт власти как доли-судьбы является ключевым для народного сознания в период адаптации к кризисным и вообще экстремальным условиям существования.

Можно выделить и некоторые другие особенности народного осмысления истории посредством мифологии. Мифологическое сознание нередко игнорирует временные рамки событий, и также легко перемещает их в пространстве. Если время сгущается, то пространство становится подобным воронке, втягивающей в себя участников событий. Эпицентр этих событий легко перемещается в ту точку, где происходит их осмысление. Так появляется версия непосредственного участия в событиях на Дону Ленина: *«Когда Ленин пришел – ну, там до кех-то он доехал в машине, а у него машина разорилась там – это я слыхала – а тут хутор недалеко, это не в Усть-Хопре, а где-то было, а слух-то носится, слухом земля полнится. Ну, шофер побег там, нашел пару быков и человека, 2–3 человека подъехали, зацепили эту машину, машина пошла... А этот-то, Ленин, вынул ружье и стрельнул, и убил этих людей. Вот с этого и пошло к худшему все. Вот и пошла плохая жизнь. И все, и безбожество пошло»* [12]. Аналогичные рассказы, с присутствием Сталина и его адъютанта в казачьей станице и в г. Сталинграде, записаны нами применительно к Великой Отечественной войне.

Вышеприведенные способы осмысления исторического прошлого в конце XX в. представлялись анахронизмами, они сходили на нет. Однако впереди был новый виток мифотворчества, связанный с периодом «перестройки» и гласности. Осмысление истории XX в. стало осуществляться иными (не традиционными) способами. Так, в условиях послеперестроечных информационных выхлестов в народном сознании была своеобразно реализована идея «заговора», с помощью которой наш информант пытался объяснить и трагическую судьбу Белого движения, и послеперестроечный хаос в стране: *«Я в лагере встречался со многими осмысленными людьми. Они много знали о нашей жизни. Осмысленные люди были, большого ума,*

всякие – и военачальники, и интеллигенция. Они многое нам рассказывали. И вот один мне поведал. Вся наша жизнь теперешняя – это чужая месть. Это было в Новороссийске, когда Белая армия отступала. В море уперлись и там на корабли садились – плыть за границу. А места всем не хватало. Много народу осталось на берегу. Они волновались. А начальники к ним вышли и говорят: “Вы не волнуйтесь. Вы останетесь здесь. Мы выпустим всех из тюрем, а вас туда посадим. Вы только фамилии свои не называйте. Говорите любые, только не свои”. Тогда ведь документов особо не было. И вот они говорят: “Вы останетесь, вас потом “красные” за своих примут, и вы все тут устроитесь. Пастух – ведь он при любой власти пастух. Всегда нужен. И вы получите каждый работу по уму. Один каптер, другой вахтер, третий начальник. И вы будете здесь наше дело делать. И мы вам оттуда, из-за границы, будем помогать. Инструкции давать будем. И материально помогать. И так мы этой власти отомстим за все наши обиды”. Ведь у них все отобрали – и имущество, и деньги. А за что? За то, что они всю жизнь работали. И вот так их дело и свершилось. Поэтому сейчас все и развалилось. Это они отомстили» [11]. Уже не в Божьем воздаянии за грехи, а в продуманном плане мести и последовательной деятельности заговорщиков видится причина социальных катаклизмов.

При наличии серьезной внешней угрозы или в случае распада привычных структур любой этнос спонтанно стремится запустить в действие некий защитный механизм (комплекс действий, реакций и чувств), способный привести к самоструктурированию этноса. Обычно в таких ситуациях этнос (или его часть) обращается к уже испытанным ранее комплексам, давшим возможность однажды (или неоднократно) перестроиться и выжить в экстремальных условиях с наименьшими потерями. Собранные нами материалы по «устной истории» донских казаков показывают, как коллективный опыт осмысления и переживания кризисных ситуаций извлекался из глубин памяти группы и использовался с теми или иными поправками (модификациями) в соответствии с новыми обстоятельствами для

осмысления глобальных потрясений XX в. и адаптации к ним.

Возможности «устной» (народной) истории в процессе исторических и культурологических изысканий не ограничиваются вышеперечисленными. Нередко со временем открываются новые ракурсы тому, кто уже работал с этими текстами. Новых открытий и интерпретаций вполне можно ожидать и от тех, кто прикоснется к этим материалам в будущем. Но для того, чтобы эти открытия состоялись, нам нужно приложить все силы для фиксации и сохранения этого уходящего прошлого, заключенного в народной памяти, чтобы передать его потомкам. Они разберутся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апраксин, В. А. Едовлинские житейские повести и рассказы / В. А. Апраксин. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2006. – 406 с.
2. Бердинских, В. А. О проблемах устной истории в СССР / В. А. Бердинских // Проблемы устной истории в СССР. – Киров, 1990.
3. Крестная ноша : трагедия казачества. Ч. 1. – Ростов н/Д : Гефест, 1994. – 511 с.
4. Луночкин, М. Н. Земли заветный уголок / М. Н. Луночкин. – Волгоград : Издатель, 2006.
5. Материалы этнографической экспедиции ВолГУ. – 1997. – Т. 3.
6. Материалы этнографической экспедиции ВолГУ. – 1997. – Т. 4.
7. Материалы этнографической экспедиции ВолГУ. – 2000. – Т. 1.
8. Материалы этнографической экспедиции ВолГУ. – 2000. – Т. 4.
9. Полевые записи автора 1986 г. в станице Староаннинской Новоаннинского района Волгоградской области.
10. Полевые записи автора 1997 г. в станице Котовской Урюпинского района Волгоградской области.
11. Полевые записи автора 1997 г. в станице Котовской Урюпинского района Волгоградской области. – Информант Н. К. Шубин, 1917 г. р.
12. Полевые записи автора 2000 г. в станице Усть-Хоперской. – Информант А. Е. Ананьева, 1914 г. р.
13. Полевые записи автора 2000 г. в станице Усть-Хоперской Волгоградской области. – Информант М. Н. Ржавскова, 1924 г. р.
14. Рыблова, М. А. Народные образы предвестников войны / М. А. Рыблова // Великая Отечественная война в пространстве исторической памяти российского общества : материалы Международ. науч. конф., г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог, 28–29 апр. 2010 г. – Ростов н/Д ; Таганрог : Изд-во ЮНЦ РАН, 2010. – С. 195–198.
15. Рыблова, М. А. Кавказские мотивы в устной истории донских казаков / М. А. Рыблова // Народы Кавказа в пространстве российской цивилизации: исторический опыт и современные проблемы. – Ростов н/Д : Изд-во ЮНЦ РАН, 2011. – С. 346–351.
16. Рыблова, М. А. Политические и социальные катаклизмы начала XX в. в народной памяти донских казаков / М. А. Рыблова // Юг России: реформы, революции, поиски гражданского мира (памяти П. А. Столыпина). – Ростов н/Д : Изд-во ЮНЦ РАН, 2011. – С. 134–139.
17. Томпсон, П. Голос прошлого: Устная история / П. Томпсон. – М. : Весь мир, 2003. – 368 с.
18. Центр документации новейшей истории Ростовской области. – Ф. 12. – Оп. 3. – Д. 5. – Л. 10.
19. Шелеметьева, А. А. Устная история донского казачества (дипломная работа студентки V курса Волгоградского государственного университета, кафедра регионоведения и международных отношений) / А. А. Шелеметьева. – Волгоград, 2002. – 98 с.

DON COSSAKS' "ORAL HISTORY" AS A METHOD OF FIELD ETHNOGRAPHIC RESEARCH

M.A. Ryblova

The author demonstrates the possibilities of the use of oral historical sources in the field ethnographic research, as well as analyzes them within the context of revealing the mechanisms of Don Cossacks' adaptation to crises of the XX century.

Key words: *microhistory, oral history, field ethnographic research, mechanisms of ethnocultural adaptation to crises, folk mythmaking.*